

Иван Иванович Панаев

Дочь чиновного человека



Иван Панаев

Дочь чиновного человека

«Public Domain»

1839

Панаев И. И.

Дочь чиновного человека / И. И. Панаев — «Public Domain»,
1839

«Чиновнику Терebenьину лет около шестидесяти; у него темные волосы с проседью, обстриженные под гребенку; маленькие глаза, почти без движения, цвета болотной воды, и толстые губы. Он небольшого роста и всегда носит вицмундир. Белый галстук несколько раз обвертывается кругом его шеи; этот белый галстук по утрам, в должности, бывает на нем не совсем чист, хотя, по словам его, он носит белые галстуки именно только для чистоплотности. «На черных-де, – говорит он, – незаметна грязь, а на белом вот сейчас так и видно малейшее пятнышко»...»

Содержание

Глава I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Иван Иванович Панаев

Дочь чиновного человека

Повесть

*Не сердись за правду!
В наш век, в разврате утучневший, просит
Прощенья у порока добродетель
И ползает, моля о позволенье
Творить добро ему же...*

Шекспир

Глава I

*Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит
И луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни...*

Веневитинов

Чиновнику Терebenьину лет около шестидесяти; у него темные волосы с проседью, обстриженные под гребенку; маленькие глаза, почти без движения, цвета болотной воды, и толстые губы. Он небольшого роста и всегда носит вицмундир. Белый галстук несколько раз обвертывается кругом его шеи; этот белый галстук по утрам, в должности, бывает на нем не совсем чист, хотя, по словам его, он носит белые галстуки именно только для чистоплотности. «На черных-де, – говорит он, – незаметна грязь, а на белом вот сейчас так и видно малейшее пятнышко». У него три вицмундира: одни весь истертый по швам, который он носит в департаменте, другой поновее, который он обыкновенно надевает по воскресным и табельным дням, также отправляясь куда-нибудь в гости к приятелям на бостончик или на вистик; третий, совершенно новый, хранится собственно для директорских обедов и вечеров. На днях Осип Ильич (так звали г-на Терebenьина) за долговременную и усердную службу представлен к награждению. Недавно он променял в Гороховой улице у часовых дел мастера свои старинные, толстые, серебряные часы на серебряные же потонее. «Те, – говорит он, – в форме луковицы, кроме своей тяжести, весьма неудобны были для ношения, потому что совершенно препятствовали застегнуть вицмундир. Как застегнешь его, сейчас образуется горб на левом боку. Оно и некрасиво, да и трется это место скорее. А жаль, – прибавлял он, – часы были верные: только четыре раза в год поверять отдавал». До мая 1826 года Осип Ильич носил гусарские сапожки без кисточек; с мая 1826 года он носит узенькие панталоны без штрипок, подбирающиеся кверху, когда он садится. Чин действительного статского советника – любимейшая его фантазия, цель, к которой он направляет все свои действия: если он сидит, сморщив брови и шевеля губами, он наверно размышляет о чине действительного статского советника; если ходит от одного угла комнаты до другого скорыми шагами, приставив указательный перст к середине лба, он думает: «Какими бы средствами поскорее достичь до такого почетного чина? Генерал! гм! Оно хоть и не совсем вельможа, а все-таки наравне с знатью. – Ваше превосходительство, Осип Ильич! – Что вам надобно? – Его превосходительству Осипу Ильичу! – А! это Терebenьину. – Вашему превосходительству, Осипу Ильичу, известно, что... Да, да, славный чин действительный статский советник, и титулование приятное! Как бы это поскорее

хоть в статские советники? Что ж? почему мне не быть действительным статским советником? почему?.. Да чем же лучше меня Захар Михайлович? чем?» Осип Ильич терпеть не может ничего книжного и совершенно презирает всех писателей. Он никогда ничего не читает из печатного, кроме Адрес – календаря, Месяцеслова, Санкт-Петербургских и Сенатских ведомостей. «Писатель! ну что ж? эка штука, писатель! – часто говаривал он. – Что в них, в этих писателях? пользу, что ли, какую приносят? Деловому человеку не очень есть время читать их побасенки-то. Другое дело, когда в театр сходить посмеяться. Ну тут всё не то: и музыка играет, и костюмы разные, да и иной, черт его знает, так живо представляет». Осип Ильич перед обедом обыкновенно выпивает рюмку настойки Трофимовского. «Эта вещь солидная, лекарственная», – замечает он, глотая настойку, покрывая и поморщиваясь.

Супруга Осипа Ильича – дама лет сорока девяти, небольшого роста, толстая и необычайно коротконогая; лицо ее – круглое, как тыква, и шероховатое, как дыня – кандалупка, покоится на груди, потому что шеи у нее совсем не имеется. Она нрава довольно сварливого, занимается рачительно хозяйственной частью; за какие-либо проступки ислушание сама бранит лакея и мужика, который нанимается нарочно для ношения воды, мытья посуды и прочего (Осип Ильич в эти дела не вмешивается); три раза в день пьет кофе, каждый раз по две чашки, несмотря на докторское увещание и на угрозу, что с ней может сделаться удар. Дома она ходит простоволосая, и волосы ее с очень заметною проседью, по причине жесткости своей, никогда не лежат на голове гладко, даже несмотря на то, что она два раза в неделю помадится полтинной помадой «au citron». «Знаем мы, батюшка, эту французскую помаду, – говорит она, – черт ли в ней, от нее как раз волосы вылезут». В две недели раз по четверкам Осип Ильич обедает у директора; к этому уже привыкла Аграфена Петровна, и поэтому по четверкам в две недели раз она садится за стол двумя часами ранее обыкновенного, то есть вместо четырех в два, приговаривая: «Вот это христианский час, а то жди себе до четырех часов, – ведь и аппетит пропадет совсем». И, несмотря на эту фразу, Аграфена Петровна всегда очень аппетитно кушает. В год два раза Осип Ильич позволяет себе некоторые вольности, например, обедать где-нибудь во французской ресторации, преимущественно у Дюме, сговорившись заранее с двумя, тремя приятелями – своими сверстниками.

– Копейка лишняя завелась, – говорит он, улыбаясь, – что делать?

В эти торжественные дни физиономия Осипа Ильича с самого утра выражает совсем не то, что обыкновенно; он все как-то искоса поглядывает на Аграфену Петровну, полуулыбается и покашливает:

– Аграфена Петровна! Аграфена Петровна!

– Ну, что там такое?

– Дайте-ка-с, матушка, чистую манишку да шейный платок. – При этом он берет щепотку табаку и с расстановками внюхивает его в себя, как бы желая придать себе этим несколько более твердости.

– Да куда же это вы идете, Осип Ильич? Давно ли я дала вам чистый платок и манишку? Что за наряды в департаменте? И в этом просидите, невелика важность!

– Оно конечно, да все, знаете, не так хорошо. Вот, говорят, сегодня какой-то военный генерал будет. Ему, дескать, директор будет показывать департамент, так слышно; как же начальствующим лицам... ведь надобно же почище одеться.

– Да мало ли что врут! А разве директор-то не сказал бы тебе об этом?

Осип Ильич при таком вопросе принялся снова за табакерку и задумчиво перебирал руками табак.

– Сказал, оно конечно... А что, Аграфена Петровна, у вас расходных-то, я чай, немного осталось? Впрочем, что ж? вот скоро и треть подвигается. Уж нынче третное я все сполна вам отдаю.

– И давно бы так, батюшка! Подержи-ка хоть раз сам расход, так и увидишь, что значит: и туда деньги, и сюда деньги, и то вздорожало, и другое вздорожало...

– Все отдам, все сполна, до копеечки.

– Смотрите же, Осип Ильич.

– Ей-богу! Аграфена Петровна. А что же, чистую-то манишку?

– На вас и гладить не упасешься: чистую да чистую, подавай откуда хочешь.

– Вы сегодня не ждите меня обедать – завален делами: может, и до пяти часов придется посидеть.

– Да говорите без обиняков. Что вы, обедать, что ли, куда собираетесь?

– Может статья, и обедать куда пойдём.

– Куда же, нельзя ли узнать?

– Марк Назарыч с Николаем Игнатьичем приглашают меня.

– Уж предчувствовала, предчувствовала! На дебош в какую-нибудь немецкую ресторанцию. Там славно обирают русские денежки; мастера, нечего сказать! Только попадись к ним – обдерут как липку.

– Марк Назарыч говорит, что...

– Знаем мы твоего Марка Назарыча: ему бы на чужой счет пожуировать, а в доме трава не расти. Палагея Емельяновна все порассказала мне, все: кровавыми слезами плачет бедняжка, истинно кровавыми; кулаком слезы утирает.

– Ну да я пожалуй и не пойду.

– Идите, ждите, никто не мешает вам; а небось как спросишь: «Осип Ильич, на расходы надо», – так и закобенется. «Да откуда мне взять денег? да что я, делаю, что ли, деньги?» А вот как на дебоширство, так небось есть.

– Ну, ну, бог с вами! сказал, что не пойду.

Это со стороны Осипа Ильича была только одна фигура уступления; после долгого крика и шума он поставлял-таки на своем, выпрашивал чистый галстук и манишку и после присутствия отправлялся с приятелями покутить.

У Дюме они выпивали обыкновенно каждый по бутылке простого столового вина, белого или красного, смотря по вкусу; каждый спрашивал по бутылке шампанского, и все вместе обращали на себя всеобщее внимание.

Осип Ильич, наливая в стакан красное вино, сперва подносил его к носу.

– Вино ординарное, Марк Назарыч, а букет хорош; понюхайте.

Потом, сморщивая брови, он приподнимал стакан к свету, поворачивая его в руке, все перед светом, и, после таких маневров, обращался снова к Марку Назарычу:

– И цвет не дурен: густоват, правда, немножко. Что, я думаю, им обходится по полтора бутылка?

В заключение он выпивал стакан и обтирал салфеткою губы.

Точно как для мужа были истинно высокаторжественными днями в жизни те дни, в которые он обедал во французской ресторации, – так для жены те, в которые она ходила с визитом к генеральше Поволокиной, у супруга которой ее Осип Ильич был стряпчим, или, говоря высоким слогом, ходатаем по делам.

Муж, припоминая что-либо, всегда говаривал:

– Когда же это было? с месяц, что ли? Последний-то раз я обедал у Дюме шесть недель тому назад. Ну, да оно так и будет. – И в таком случае, жена почти всегда возражала ему:

– Что ты это? перекрестись, голубчик. Ведь это было за две недели до рождения ее превосходительства Надежды Сергеевны Поволокиной; а я после того еще раз была у нее перед заговенами.

Осип Ильич был человек, как мы уже выше заметили, очень нужный для супруга этой Надежды Сергеевны Поволокиной, и потому он очень дорожил Осипом Ильичом. Он посылал

его по своим делам и в гражданские палаты, и в уездные суды, и в конторы маклеров. Осип Ильич, – надо отдать ему справедливость, – в приказных делах был человек сведущий, потому что начал свое служебное поприще с гражданской палаты. Генерал Поволокин решительно не занимался ничем домашним; он даже редко бывал дома: утром в должности, а вечером в Английском клубе, к перу от карт и к картам от пера, по словам Грибоедова, давно обратившимся в поговорку. 500 наследственных душ его, заложенные и перезаложенные, едва ли не пять лет сряду показывавшиеся в «Прибавлениях» к «Санкт-Петербуржским ведомостям», немного приносили дохода; и если бы не другой доход, гораздо повернее первого, то г-жа Поволокина должна бы была весьма посократить свои издержки на булавки и на прочее. Впрочем, г-н Поволокин слыл в Петербурге за человека богатого: он имел четверню лошадей, квартиру, меблированную если не изящно, то довольно роскошно: штоф на мебели, бронзовые канделябры и часы, алебастровые вазы; правда, все это не очень блестящее, ибо пыль слоями покрывала все эти вещи; правда, что его передняя была и темна и грязна, что она пахла ламповым маслом, – но это уже не была вина г-на Поволокина, а скорее г-жи Поволокиной, которая всегда и всем кричала о своих хозяйственных дарованиях.

В этом случае Надежда Сергеевна и Аграфена Петровна чрезвычайно различились друг от друга: последняя чистоту в доме ставила выше всего на свете.

– Опрятность есть добродетель, – говаривала она и, несмотря на это мудрое изречение, только один раз в неделю, по воскресеньям, исключая экстраординарных случаев, выдавала Осипу Ильичу чистую манишку и шейный платок. Часто, смотря на его шею, она думала: «И точно грязноват платок-то; ну, да что за беда, еще дня три проносит; ведь от частой стирки белье рвется...»

Она сама ежедневно утром вытирала пыль в гостиной и в зале с диванов, со столов, со стульев и комодов, с разных вещей, как-то: с стеклянного колпачка, под которым лет восемь покоился сделанный из воска и раскрашенный амурчик в колыбели, с зеркала над диваном и с силуэта своей бабушки, который висел, оклеенный в цветную бумажку, под зеркалом в гостиной. Ерани и рута, стоявшие в зале на окнах, зимою через день, а летом аккуратно всякий день поливались также ее собственными руками. Последнее растение, то есть рута, кроме украшения комнаты, приносило еще и пользу, а именно употреблялось Аграфеною Петровною для полоскания рта.

17-го сентября 18**, в день святых Веры, Софии, Любви и Надежды, в который начинается наше повествование, Аграфена Петровна проснулась ранее обыкновенного, то есть часов около шести, и занялась приготовлениями к своему туалету. Это был день именин Надежды Сергеевны и дочки ее Софьи Николаевны. Аграфена Петровна должна была отправиться с поздравлениями. К 11 часам она была уже совершенно готова: в чепце с кружевными крылышками, украшенном лентами цвета адского пламени, в желто – коричневом гроденаплевом капоте, в красной французской шали, при клеенчатом, в клетку сплетенном ридикюле и в кожаных полусапожках со скрипом. В 11 часов лакей в грязной ливрее и в изорванных сапогах посадил ее в извозчичью четырехместную карету, за неотысканием двухместной. «Но... ну... но... небось» – и карета двинулась. В половине 12-го Аграфена Петровна прибыла к дому г-жи Поволокиной, запыхавшись взойшла на лестницу, и лакей дернул за ручку колокольчика.

– Что, дома ее превосходительство Надежда Сергеевна?

– Дома, да в уборной-с.

– А Софья Николаевна?

– К барышне можно-с.

Генеральская дочь сидела в своей комнате, в белой блузе; на плечах ее была накинута шаль; перед ней на пюпитре лежала развернутая книга. Ей казалось на лицо двадцать пять или двадцать шесть лет; она не имела той красоты, которая бросается прямо в глаза каждому и в гостиных, и в театрах, и на улицах, – этой скульптурной красоты, доступной равно для глаз

всех; но она не принадлежала также к тем счастливым девушкам, о которых небрежно говорят: «Да, хорошенькая» или с гримасой снисхождения: «Конечно, она недурна; такая миленькая!»

Может быть, пройдя мимо ее, вы бы вовсе не заметили ее и, конечно, посмотрев на нее, не произнесли бы этих общих, изношенных, пошлых фраз: хорошенькая, миленькая! Многие даже находили ее дурною, и, право, грех было спорить с этими господами. Слово: «дурна», в устах таких людей, не могло быть оскорбительно для нее: это не то, что слово «хорошенькая»!

Ее лицо было задумчиво; оно всегда мыслило, всегда говорило; что-то болезненно – бледное было в цвете лица ее, что-то страшно тоскливое в ее черных, глубоких очах. Посмотрев на нее, вы стали бы в нее вглядываться; вглядевшись, вы бы захотели насмотреться на нее; наглядевшись, вы бы, может быть, задумались и спросили самого себя: для чего рождаются такие существа? для чего живут они? многие ли поймут их и оценят?

В самом деле, жизнь Софьи – одно из самых горьких явлений современного общества – была достойна полного внимания, наблюдения не поверхностного. Мы, с таким рвением, с такою пытливостью изучающие жизнь людей великих, имена которых нарезаны веками на скрижали бессмертия, мы, дивящиеся силе их воли, их героизму, их самоотвержению, – мы не знаем, что среди нас, в этом обществе, в этой мелкой жизни, в которой бесцельно кружимся, есть характеры не менее великие, не менее достойные изучения. Не их вина, что они обставлены другими обстоятельствами, что они действуют в ограниченном домашнем кругу, а не на обширном гражданском позорище. Посмотрите на страшную борьбу образования с полуобразованием или с явным невежеством, ума и чувства с закоренелыми предрассудками, – на эту борьбу, немилосердно раздирающую тысячи семейств. Вот перед вами жертвы этой борьбы, безропотно, незаметно сходящие в могилу, непонятые и неоплаканные. Остановитесь на этих могилах с слезою благоговения... Но не в том дело, я должен познакомить вас с матерью Софьи.

Это была, изволите видеть, женщина не совсем глупая и не совсем умная, а так, что-то среднее между тем и другим, сорокапятилетняя кокетка, павлинившаяся тем, что ее муж был важный чиновник; неловкая и странная, как цифра, сделанная из нуля; смешная чиновница перед какой-нибудь княгиней и карикатурная княгиня перед чиновницей, – полуобразованная, и потому без всякого снисхождения... Образчики таких женщин вы верно встречали в среднем петербургском обществе.

Надежда Сергеевна всегда с жеманною полуулыбкой смотрела на ласки своей дочери, сердце которой требовало любви материнской, и, поправляя ленты своего чепца перед зеркалом, говорила небрежно: «Полно, милая, к чему эти нежности? Вот цвет, который, кажется, совсем не к лицу мне. Не правда ли?» Такие вопросы оставались часто без ответа, и такого рода молчание незаметно вооружало мать против дочери. Женщина полуобразованная редко отличает лесть от ласки: в ее понятиях это – решительно синонимы. Лесть действует на самолюбие, ласка – на чувства. Самолюбием наделены все мы, чувствами – немногие, и вот почему лесть в таком ходу, в таком уважении в этом мире; и вот почему мать Софьи называла ее часто неблагодарной, нечувствительной дочерью. Оскорбляемая такими словами, бедная девушка не могла понять, почему они, эти ужасные слова, могут применяться к ней. Она заглядывала в глубину своего сердца, поверяла все свои мысли, отдавала себе отчет в каждом слове, произнесенном ею перед лицом матери, старалась даже припоминать выражение лица своего в то время, когда она говорила с нею, – и, заливаясь слезами, почти без памяти упала головой на свой рабочий столик, бывший единственным свидетелем ее страданий.

«Господи! – думала она, – ты видишь мое сердце. Разве я не свято исполняю обязанность дочери? Господи! наставь меня, вразуми меня, покажи мне вину мою. Отчего же я неблагодарна? Отчего же я бесчувственна?»

Софья изнывала от тайных страданий, и только бледность лица ее и постоянно тоскливое выражение очей изобличали, что ей не сладка жизнь. Но это не трогало матери, напротив, еще раздражало ее. Она называла ее капризной девчонкой. Она говорила ей, стараясь придавать

словам своим умышленно обидный тон: «Что это ты приняла на себя вид какой-то жалкой, притесненной, обиженной? Ты и без того не очень хороша, а это, право, нейдет к тебе...»

Но днями истинной пытки для Софьи были те дни, в которые отец ее давал у себя вечера, или балы, как говорила Надежда Сергеевна.

На эти «балы» были всегда приглашаемы, лично самим г-ном Поволокиным, две или три княгини или графини, с мужьями которых он имел постоянные сношения, по картам. Эти княгини и графини показывали, что делают ему в полном смысле честь своим посещением. За несколько дней до такого бала супруга г-на Поволокина принимала на себя вид гораздо важнее обыкновенного: она чаще и сердитее обращалась к дочери. «Как ты странно держишься, милая! В твоей турнире нет никакой грасы. Вот посмотрела бы ты на графиню Д* – загляденье просто: как войдет в гостиную, так и говорить не нужно – всякий узнает, что графиня. Так нет себе, где! У нас хорошего перенимать не любят. Вот хоть бы прошедший раз, когда у нас была княгиня, я просто не знала, что делать: не замечает ее, – и чем же занимается? Забилась в угол, да и изволит разговаривать с Катенькой Пороховой: экая невидаль! Другая, на твоём месте, прочь бы не отошла целый вечер от княгини, предупреждала бы ее малейшие желания, так бы и глядела ей в глаза. Ну, а то что она теперь о тебе подумает? уж верно скажет: экая дура, и слова-то сказать не умеет – такая невоспитанная! А кажется, матушка, потратили-таки на твое воспитание довольно. Каких учителей не нанимали! Вот посмотри, полюбопытствуй, у отца в кабинете есть счетец, что ты ему стоила. А он не бог знает какой миллионер!»

Неловкое унижение матери Софьи перед княгинями и графинями, грациозная недоступность, очаровательная важность этих господ показали ей неизмеримое расстояние между ими и ею. Она с негодованием видела, как среднее сословие карикатурно вытягивается до подмосток, на которых величается аристократия, и с какою милою и снисходительною насмешкою эта аристократия смотрит на жалкие усилия легонького дворянства. Все это сделало на нее сильное впечатление и отдалило ее от общества, в котором она, по собственному сознанию, не могла играть никакой роли. Она выезжала потому только, что ей было приказано выезжать, и не отделилась в гостиных от массы. Это ничтожество в обществе нисколько не оскорбляло ее самолюбия: она знала, что наделена всеми средствами, которые бы должны были вывести ее на авансцену, но что только собственная воля заставляет ее не употреблять ни одного из этих средств и постоянно оставаться в глубине сцены. Там из простой, невольной зрительницы она вскоре сделалась невольною наблюдательницей. Мимо ее мелькали тысячи движущихся существ обоего пола, убранных самыми бессмысленными прихотями, разукрашенных самыми безумными предрассудками, которые назывались светскими приличиями. Это был пресмешной маскарад, пестрее, разнообразнее и бессмысленнее итальянских карнавалов, смешной еще более потому, что все эти движущиеся существа нимало не подозревали нелепости своих костюмов и, задыхаясь под безобразными масками, готовы были божиться, что они ходят с открытыми лицами. По крайней мере высшее общество, как французский водевиль, при всей своей пустоте, показалось ей в первый раз заманчивым, потому что оно имеет и блеск, и остроту, и каламбуры, и как будто наружный смысл; к тому же она видела издали это общество: но среднее, – о, среднее общество! – оно показалось ей тем же французским водевилем, только презабавно переделанным на русские нравы.

Вот какова была дочь генерала Поволокина, и вот какова была жизнь ее. Утром 17 сентября 18**, она, как мы говорили выше, сидела в своей комнате, задумавшись над книгою. И читатели наши могут представить положение ее в ту минуту, когда она обернулась на скрип отворявшейся двери и увидела перед собою шарообразную чиновницу с кожаным ридикюлем в руке и с лентами цвета адского пламени.

Но Софья закрыла книгу, встала со стула и с своей обычною приветливостию пошла навстречу гостье.

– Имею честь поздравить ваше превосходительство с днем ангела. Осип Ильич приносит вам также чувствительнейшее свое поздравление.

Проговорив это приветствие, она едва не задохлась.

– Садитесь, Аграфена Петровна; очень рада вас видеть; вы никогда не забывали этого дня – всегда беспокоитесь сами...

– Как же можно забыть, Софья Николаевна? Помилуйте, да что же после этого и помнить! Я и Осип Ильич очень чувствуем, поверьте, очень помним все милости и его превосходительства, и ее превосходительства, и ваши.

Софья кусала губы.

– Полноте, полноте, Аграфена Петровна; может быть, папенька и маменька, но я еще ничего не могла сделать...

– Чувствуем, матушка, – перебила чиновница, – все ваши благодеяния, вполне ценим и чувствуем; все, таки все по гроб не забудем; я – вот, как перед богом, говорю перед вами – такой человек, как ваш батюшка, на редкость в нынешнем свете. Уж подлинно сказать, нынче переводятся хорошие люди... А как в своем здоровье ее превосходительство?

– Маменька, слава богу, здорова; она сейчас придет; она, верно, еще не знает, что вы здесь.

– Не беспокойте ее превосходительство, ради бога не беспокойте, Софья Николаевна, прошу вас; знаю, очень хорошо знаю, что такое хозяйка: и туда заглянь, и в другое место, и в третье – везде нужно; день-деньской пройдет, не увидишь. Какую это вы книжку изволите читать? позвольте полюбопытствовать.

– «Корреджио» Эленшлегера.

– Про этакое сочинителя я не слыхала. Господи, подумаешь, сколько на свете есть сочинителей!.. Ах! – И при этом ах – Аграфена Петровна вскочила со стула и покатила навстречу входившей в комнату Надежды Сергеевны:

– Матушка, ваше превосходительство! усерднейше поздравляю вас! Дай бог вам еще сто раз праздновать этот день, дождаться и внучек и правнучек, поскорее пристроить Софью Николаевну, чтобы...

– Благодарю вас, милая. Садитесь. Что муж ваш?

– Слава богу, ваше превосходительство, здоров, вашими молитвами. Ни днем ни ночью покоя по службе нет, все себе пишет. Уж, нечего сказать, много видала усердствия к службе, а такого, так истинно скажу, на редкость. Говорю: побойся бога, Осип Ильич, ведь ты человек: долго ли занемочь? кажется, ты уж составил себе реноме. Нет, говорит, Аграфена Петровна, на то уж, говорит, присягу дал: в гроб лягу, а служить не перестану. Что с ним будешь делать?.. Утром перед департаментом лично был у вас с поздравлением.

При этом слове г-жа Терebenьина немного привстала.

– Да, мне сказывали, – говорила небрежно Надежда Сергеевна, – это было еще очень рано, я спала.

– Знаю, знаю, матушка ваше превосходительство, вы не то, что наша сестра: почиваете, покуда почивается. Какая работа в вашем звании!.. Вот мы, бедные люди, в поте лица добывающие хлеб, так это другое дело.

– Однако, милая, если бы я не хозяйничала сама, то весь дом у меня пошел бы вверх дном... Что моя дорогая именинница? – И, протяжно произнося это, она рассматривала шаль, накинутую на дочери. – Очень хороший цвет.

– Прекрасный, бесподобнейший... Да уж может ли быть у вас что-нибудь дурное? Кому же и иметь хорошее? Уж вы мне простите, простой женщине, ваше превосходительство, а уж я скажу, как вас вместе видишь с Софьей Николаевной, так вот сердце и радуется. Такой материнской любви поискать в нынешнем веке!

– Да; кажется, она не может на меня пожаловаться: я всю жизнь посвятила ей, я для нее всем жертвовала.

– И сейчас видно.

Софья избежала взора матери, который жадно выжидал ответа на фразу, заранее составленную и употреблявшуюся при всяком удобном случае.

– Как натурально сделано! – начала Аграфена Петровна, смотря на литографированный портрет, стоявший на столике против нее. – Не родственника ли вашего, смею спросить, Софья Николаевна?

Мать и дочь улыбнулись в одно время.

– Это портрет английского писателя Байрона, – отвечала Софья покрасневшись, скороговоркою.

– Она влюблена в книги, – говорила насмешливо Надежда Сергеевна, – ей бы только с утра до ночи сидеть в своей комнате да читать. Рукоделием так мы не очень любим заниматься. А с одним чтением не так-то далеко уедешь.

– Очень хороший портрет, – продолжала Аграфена Петровна, – только жаль, что не покрашенный, а вот с Осипа Ильича недавно писал в миньютюрном виде портрет красками один молодой человек, живописец, дальний наш родственник. Удивительнейшее сходство! Просто живой сидит, только что не говорит – так трафит, что чудо! Недавно писал он с генеральши Толбуковой, и та осталась довольна, и двести ассигнациями дала ему за портрет.

– В самом деле? Меня муж все просит, чтоб я списала с себя и с нее портреты (тут она указала на дочь). Пусть бы он принес показать свою работу, для образчика; я бы, может быть, заказала ему оба портрета.

– Очень рада услужить вашему превосходительству: дам ему знать непременно; он за честь должен себе поставить списывать с вас портрет. Вы им останетесь довольны; у него руки золотые, да язычок-то не совсем чист. Мог бы обогатиться, ей-богу правда, пиши только портреты, а то – где! хочу, говорит, большие картины писать, а иной раз и хлеба нет. Все мать избаловала! Уж это баловство никогда до добра не доведет. Впрочем, он ее своими трудами кормит. Пришлю его к вам, пришлю, матушка ваше превосходительство.

– Не забудьте, милая! – проговорила Надежда Сергеевна, вставая со стула.

– Ни за что не забуду.

Аграфена Петровна также встала со стула.

– Прощайте, ваше превосходительство! прощайте, Софья Николаевна. Когда же его прислать прикажете?

– По утрам, часов до двух, я всегда дома. Да чтобы он работу свою принес, – не забудьте.

– Слушаю, слушаю! Прощайте, ваше превосходительство; прощайте, Софья Николаевна.

– Прощайте, милая; благодарю вас.

Софья проводила Аграфену Петровну до двери передней.

– Ради бога, не беспокойтесь, прошу вас, сделайте такую милость, Софья Николаевна.

Наконец, слава богу, Софья осталась одна! Она хотела отдохнуть от визита чиновницы и снова принялась за свою книгу, в то время, как во всем доме бегали, суетились, кричали по случаю приготовления к балу, долженствовавшему быть вечером. Но вдруг она отложила книгу в сторону, опустилась глубже в кресла и задумалась. Воображению бедной девушки было тесно в этом ограниченном, жалком кругу, в который закинула ее прихотливая судьба. Это неутомное воображение редко оставляло ее в покое; начнет ли она засыпать, оно пригонит кровь к ее сердцу, и она вздрогнет и пробудится; станет ли читать она, книга выпадает из рук ее, и она лениво скрестит руки и небрежно прислонится к сафьянной подушке дивана. Воображение высоко поднимало ее грудь, грациозно опускало ей на бок головку, заставляло ее так печально вздыхать и так мило задумываться. Вот отчего и в эту минуту она отложила книгу в сторону и остановилась на мучительном разговоре Корреджио с самим собою, по уходе Мике-

ланджело. Как хорошо понимала она страдальческие речи Аллегри... Художник!.. это имя было так заманчиво для нее; с этим именем соединялся для нее целый мир идей новых, возвышенных, бесконечных. Озаренный лучом вдохновения, художник являлся перед нею существом высшим, таинственным, поставленным между небом и землею, ослепительным венцом божьего создания. Она не подозревала в художнике человека, потому что не могла соединить этих двух идей. Она бы решительно не поняла вас, если бы вы стали говорить о частной жизни художников: о скупости Перуджино, о буйной жизни Рафаэля и Дель-Сарто, об алчности к деньгам Рембрандта. Художник не мог иначе представляться ей, как в образе Гвидо-Рени, который с угрызением совести брал деньги за труды свои, считая это унижением искусства, работал с покрытою головой даже в присутствии папы и отказывался на предложения герцогов, призывавших его в свои владения, из одного только страха, чтобы при дворах их искусство не было унижено в его лице. Софье показался очень странным поступок Анджело с Антонио; она ужасно рассердилась на Эленшлегера за эту сцену. «Мог ли быть таким великий Буонаротти?» – подумала она, и, погружаясь в мечту более и более, она, от великого Буонаротти, перешла мыслию к этому бедному художнику, о котором говорила чиновница. Ей так бы хотелось взглянуть на какого-нибудь художника, удостовериться, похож ли он на ее мечту, на ее создание? Что, если в самом деле он, этот художник, рекомендованный Аграфеною Петровою, не какой-нибудь наемный пачкун, а человек с талантом? Он кормит мать – старушку трудами своими: стало быть, у него доброе сердце; он порывается создать что –нибудь большое: стало быть, он чувствует в себе талант... О, это должен быть настоящий художник! И при этой мысли сердце Софьи сильно забилося. Боже мой! и маменька послала звать его к себе, с тем чтобы он принес образчики своей работы. Как это покажется ему оскорбительным! Образчики работы... будто он какой-нибудь торгаш. Впрочем, может быть, он и не то, что я думаю, сказала она про себя, и опять открыла книгу.

Между тем голос ее матери раздавался по всем комнатам; она кричала на лакеев и девок: «Вытрите хорошенько в зале с окошек; вас везде надо натывать носом. Да чтоб вечером лампы-то хорошенько горели, а то прошедший раз я за вас сгорела от стыда. Вот бог дал дочку: изволил заниматься романами, – не то, чтобы пособлять матери! Растишь, растишь, думаешь, что будет утешением, ан вот!.. Свечки-то восковые поставьте в тройники да обожгите».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.